

(1891) 85" > -Ф, v 420 1c 115 83.7 / Ф20 .Л.1

1
ПРЕДИСЛОВИЕ



то случилось на исходе хороших и в начале плохих времен. На небосклоне появились черные тучи. Кажется, ветер их легко прогонит и они где-то в пустыне

изольют свою «душу».

В прекрасном европейском винограднике появился горький корень. Пробиваясь сквозь почву, он обнажал свои отравленные колючие ростки. Думали, увидят садовники и вырвут их с корнем. Предполагали, что XIX век на старости лет немного простыл и у него чуть повысилась температура. Никто не подозревал, что это было тяжелой болезнью.

Как далека от нас была Америка! Ни один еврей понятия не имел, сколько там стоит миска каши и не носят ли там ермолку на ногах. О цитрусовых из Палестины так редко слышали, как о бароне Гирше * или о филантропах.

Астрономия за много лет вперед определяет час затмения солнца и луны; психология не так точна. Вдруг «мировой дух» начинает грустить, а тело его конвульсировать. Предвидеть это психология не в состоянии, а в свершившееся она не может поверить, ибо понять это невозможно... Однако беспокойство охватило многих. Наваety злобно распространялись повсюду.

Между тем решено было познакомиться с обыденной жизнью евреев, побывать в местечках и узнать, чем живут их обитатели, на что надеются, что говорит народ.

УПОВАНИЕ

Мой первый заезд был в Типшовцы. Я остановился у своего знакомого, реб * Бореха. Он послал за шамесом * и несколькими местными жителями. Ожидая их, я стоял у окна и осматривал базар.

Рынок здесь — большой четырехугольник. Его окружают потемневшие, согбенные домики, кое-где крытые соломой, но в основном — дранкой.

Все они — одноэтажные. Их широкие сени еле держатся на гнилых пожелтелых столбиках. Неподалеку от сеней стоят бок о бок торговки с лотками, заваленными бубликами, хлебом, горохом, бобами и разными овощами. Среди женщин поднялся невероятный галдеж. Очевидно, мое появление озадачило их.

— Чтоб тебе пусто было, — кричит одна, — не показывай пальцем, он ведь видит!

— Держи язык за зубами!

Женщинам уже известно, что я приехал что-то записывать. Они передают это друг другу по секрету так «тихо», что здесь, в доме, мне все слышно.

Торговки перебрасываются репликами: «Это он и есть!», «Хорошо все же, что у бедных есть пастыри, которые заботятся о них», «Но если бог не поможет, все равно плохо».

Одна из женщин никак не может взять в толк, зачем богу пужны такие посланцы. Она намекает на мою подстриженную бороду * и европейский костюм. Другая ссылается на доктора. «Доктор, — говорит она, — тоже так одет, а все-таки...»

— Это совсем другое, доктор-то один.

— Они бы лучше, — вмешивается в разговор третья, — прислали несколько сот рублей. Мне их писанина не нужна, от этого мой сын не станет генералом!

* * *

Сев за стол, я стал невидимкой: с улицы меня не могли заметить, а я видел полбазара. Тем временем мой хозяин помолился, сложил талес * и тефилн * и принес немного водки.

— Лехаим! * — говорю я.

— Дай бог лучшие времена, чтобы был заработок.

Как я завидую своему хозяину, ему не хватает только заработка.

Реб Борех с уверенностью добавляет:

— Должен же быть заработок; есть бог на свете, и падики * тоже не будут молчать...

Я прерываю его и спрашиваю, почему в его собственных делах, хотя он хорошо знает, что тот, кто дает жизнь, дает и пропитание, он не рассчитывает на божье упование. Он торгует, не спит ночи напролет, думает, а что будет завтра, послезавтра, через год... Как только еврей женится, он уже мечтает о приданом для своих внуков. А когда речь заходит о народе, он ссылается на упование и ему не хочется даже руку в холодную воду опустить.

— Это, — отвечает мне реб Борех, — совсем другое дело. Жизнь народа в божьих руках. А если бог забудет народ свой, то ему напомнят. Есть кому. И еще скажу вам: сколько может это длиться? Одно из двух: или все станут праведниками, или нечестивцами... * Народ — это не заработок!

3

СТУПАЙ!

Я забыл вам сказать, что раввин местечка не захотел ни прийти ко мне, ни принять меня у себя.

Раввин передал через посыльного, что он слаб. Кроме того, он уже пару недель как занят трудноразрешимыми казусами. А главное, он обижен на кагал *, потому что ему не дают и тридцати копеек в неделю на пропитание.

На мое приглашение все же пришли три именитых человека с двумя шамесами. Однако вернемся к реб Бореху. Он овдовел.

— Как вы думаете, — спрашивает он, — давно ли она умерла?

Итак, он вдовец. Его семья: трое женатых сыновей, одна замужняя дочь, два мальчика и одна девушка. Реб Борех просит меня записать, что все его сыновья большие. Исключая самого младшего, которому только четыре года, но к тому времени, когда ему надо будет призываться, может прийти мессия *.

Кроме двух старших сыновей, я знал уже всю семью. Замужняя дочь содержит лавчонку в этом же доме. Она торгует табаком, чаем, сахаром и прочими вещами; думается — и керосином. Утром я купил у нее сахару. Ей лет двадцать пять, лицо у нее худое. Длинный нос как бы подсчитывает в полуоткрытом рту ее гнилые черные зубы. Губы — сине-черные, потрескавшиеся. Внешне она вылитый отец. Вторая дочь, девушка, похожа на замужнюю сестру свою, только зубы у нее не такие черные. Лицо у нее розовое и светится обаянием невесты. Она не такая перяха, как ее старшая сестра.

Знаком я и с мальчиками. Красивые парнишки. Они, вероятно, похожи на свою мать. Щеки у них розовые, глаза застепчивые и скромные. В кудрявых черных волосах много перьев. У мальчиков дурные привычки: они морщатся и дергают плечами. Одеты в целые, но грязные кафтанчики. Очевидно, мать скончалась недавно... Кафтанчики мальчики еще не успели порвать, только испачкали.

Мальчиками никто не занимается, никто за ними не ухаживает.

У кого есть время для них? У старшей сестры четверо детей, муж талмудист и лавчонка. Девушка-невеста занята в корчме, а отцу всегда некогда.

— Чем вы занимаетесь? — спрашиваю я реб Бореха.

— Процентами...

— Барышами при денежных оборотах?

— Барышами! Э...

— Потому вас и презирают.

— Вот что я вам скажу, — рассердился реб Борех, — берите все мои шмотки, эти векселя и акции, все — за двадцать пять процентов, но наличными. Уступлю даже шинок. Я бы уехал в Палестину... Были бы деньги. Даю письменное обязательство. Вы думаете, что мы держимся за лихву? Она нас держит. Не платят — долг растет. Чем больше долг — тем меньше он стоит. А я все беднею... Честное слово!

Уходя из дому, я наблюдал такую сцену. В то время как я складывал свои манатки, карандаши, папиросы, реб Борех, отправляя мальчиков в хедер *, дал им два куска хлеба с маслом и по зеленой луковице.

— Ступайте! — сказал он.

Реб Борех не хочет видеть их в шинке.

Меньшой мальчик чем-то недоволен. Он дернул плечами и скривил лицо, вот-вот заплачет. Видимо, мальчик

стесняется меня, ждет моего ухода. Однако, не дождав-шись, он разрыдался.

— Сиротка просит еще одну луковицу, — пояснил реб Борех.

— Мама мне две давала.

Сестра побежала к буфету, схватила луковицу и сунула ему.

— Ступай, — говорит она, произнося это слово значительно мягче. В ее словах звучит голос матери.

4

ЧТО НУЖНО ЖЕНЩИНЕ?

Мы идем от дома к дому, начиная с первого номера. Я уже знаю, где живут евреи и неевреи. Раз стекла пожелтевшие, стало быть, здесь проживают «избранные» *. Признаком также служат выбитые стекла и дырки, заткнутые подушками и мешками. Цветочные горшки и занавески свидетельствуют, что здесь живут неевреи. Бывают исключения: нееврей не имеет цветов, а у еврея они есть. Однако цветы и занавески в еврейском доме говорят о том, что здесь читают газету «Хацефира» *.

Самое тяжкое впечатление произвел на меня большой деревянный дом. Он чернее и грязнее всех остальных. Стены его искривились, и весь он как-то сморщился и стал похож на свое подобие: на иссохшую, сгорбленную дрожащую старуху, которая торгуется с растрепанной рыжей прислугой — своей постоянной покупательницей — из-за дровеска к фунту соли.

Шамес, обратив мое внимание на старуху, сказал:

— Она — хозяйка этого дома.

— Разве? Старуха слишком бедна для такого дома.

— Дом, — поясняет шамес, — не ее. Ей принадлежит только шестая часть. Она вдова. Наследниками являются дети, но они здесь не живут. Потому она и считается хозяйкой.

— Во сколько ценится дом?

— В полторы тысячи рублей. И все же грош ему цена.

— Почему?

— Пустует.

— Здесь, вероятно, устраиваются сборища...

— Нет, — говорит шамес и усмехается, — здесь что-то

другое. В этом доме жил когда-то доктор, но он умер, и дом опустел.

— Доктор страдал заразной болезнью?

— Боже сохрани!

— Что же?

— Просто некому жить. Кто будет здесь жить?

— Как кто?

— Вот именно. Почти у каждого из нас свое жилье. Тот, кто снимает квартиру, не может целый дом отапливать. У нас принято, что квартирант платит несколько рублей в год за угол с отоплением. Кому теперь нужны такие большие дома?

— Зачем же построили такой большой дом?

— Ба, это было когда-то. Теперь не то...

— Жаль старуху!

— Нисколько не жалко. У нее лоток с солью, она зарабатывает пару рублей в неделю. Из этого заработка платит двадцать восемь рублей в год налога за дом. На остаток живет... Что нужно женщине? Чего ей не хватает? Материал на саван у нее уже есть... *

Я еще раз взглянул на старушку, и почудилось мне, что ей действительно уже ничего не надо. Ее сморщенная кожа, как бы усмехаясь, спрашивала: «Что нужно женщине?»

5

НОМЕР 42

Я шел от дома к дому, держа список в руках. От номера сорок первого шамес повел меня к номеру сорок третьему.

— А сорок второй? — спрашиваю я.

— Вот! — показывает он мне на развалину в узком переулке.

— Провалился?

— Завалили, — отвечает шамес.

— Почему?

— Из-за брандмауэра.

Я не понял, что он имел в виду.

Мы оба устали от ходьбы, присели на лавочке, и шамес стал рассказывать:

— Понимаете, если дома стоят близко друг к другу, то по противопожарным законам полагается, — я их плохо

22

знаю, — ставить брандмауэры. А этот домик построил бедняк из бедняков, меламед * Ерухим Иванховкер. Откуда у него деньги на брандмауэр? На постройку он и ломаного гроша не имел. Из-за дома была страшная тяжба. Об этом рассказывала его, блаженной памяти, жена Малка.

Высокая, худая, чернявая женщина с острым, как нож, носом, Малка по характеру была, прости господи, баба сварливая, но малоразговорчивая. С мужем она целых пятнадцать лет не разговаривала. От одного ее взгляда холодело сердце. Все торговки дрожали перед нею, как перед смертью. Понятно, что Ерухим был счастлив, когда она перестала с ним разговаривать. Молчал и он. Вот так тихо, без слов бог одарил их двумя сыновьями и тремя дочерьми. Пожелание стать домовладельцами заставило их заговорить.

— Малка!

Она молчит.

— Малка! — повышает голос Ерухим.

Она молчит.

Ерухим закричал:

— Малка, я хочу построить дом!

Малка не выдержала, подняла один глаз и открыла рот. «Я думала, — рассказывала она, — что он сошел с ума!»

И действительно, он свихнулся. По наследству от прадеда ему перешел небольшой земельный участок. Тот самый, который вы видите, а денег — ни копейки. За душой он имел только пару жениных ложек, стоимостью восемнадцать грошей. Их неоднократно закладывали на весь год; по субботам и в праздники Ерухим выкупал их под обязательство.

Но когда злой дух призывает к себе на помощь фантазию, разве устоишь? Как только строишь дом, рисовала фантазия, ты будешь обеспечен всем. Станешь кредитоспособным, тебе одолжат денег на козу, и счастье войдет в твой дом. Часть дома сдашь под корчму. А если бог захочет, жена станет корчмаркой. А главное — детей обеспечишь! Мальчиков пошлешь в ешибот *, а дом перепишешь на имя дочерей. И конец!

Но на что строить?

На это у Ерухима был готовый расчет:

— Я, — говорил он, — меламед, ты. Малка, торговка, стало быть, у нас два источника дохода. Один доход пойдет на жизнь, другой — на строительство.

23

— Что ты мелешь, сумасшедший? — отвечала Малка. — Ни твоим, ни моим доходами мы прожить не можем.

— По мольбе, — говорит он, — приходит божья помощь. Вот, к примеру, Нойах-меламед, наш сосед, у него большая жена, она и трояка не зарабатывает, а у них, не сглазят бы, шестеро детей, чтоб они были здоровы, и ничего. Живет только своим учительским заработком.

— Сравнил тоже, он ведь знатный меламед, у него обучаются дети богачей.

— Почему ты так думаешь? Разве он лучше меня знает Талмуд? * Нет! Но когда милостивый бог видит, что у Нойаха только один заработок, он не скупится. Вот еще один пример: Черная Броха! Вдова с пятью детьми, и доход у нее один, от торговли.

— О чем ты, безумец? Дай бог мне такое большое богатство, как у Брохи. В обороте у нее рублей тридцать, не меньше.

— Не это главное, — поясняет Ерухим, — главное — божье благословение. Господь правит миром по законам правды и справедливости.

Ерухим убеждал Малку, что нужно экономить, что можно обойтись без многих вещей.

Сам Ерухим отказался от нюхательного табака, семья — от простокваши, даже от ужина, и строили.

Строили годами, но когда коснулось брандмауэра, Малка была без товара, а у Ерухима уже иссякли силы. Старший сын ушел из дома в поисках заработка, а чтобы достроить дом, не хватало рублей сорока.

Что делать? Писарю сунули в кулак и въехали без брандмауэра.

Ерухим с удовольствием переехал в новый дом. Он был членом погребального братства, и оно ему устроило повоселье. Выпили, без преувеличения, бочку пива. Хорошо повеселились. Но не долго веселье продолжалось.

Какой-то прихожанин поссорился с соседом Ерухима — с Нойахом-меламедом. Нойах когда-то был богачом. Кроме дома, имел наличные, несколько сотен; торговал он медом. А когда у нас вышел раздор из-за литовского раввина *, на сына Нойаха донесли (он и по сей день служит в полку с больными легкими), и самого Нойаха обвинили в ложных показаниях на раввина. Это был прямо-таки разбой. К доносам мы уже привыкли, но выдумать, будто он поджег свой дом — это, скажу я вам, разбой... Так или иначе, но история с сыном и процесс о пожаре разорили Нойаха, и

он стал меламедом. Прихожан он мало уважал. Один из них обиделся на него, забрал сына из его хедера и определил к Ерухиму.

Нойаха это задело. В уезде он был своим человеком, вот и донес начальству, что дом Ерухима без брандмауэра; позже Нойах пожалел об этом. Пытался дело уладить. Вложил в него копеечку, и оно заглохло.

Все было бы хорошо, не случись история с ципес *. Ерухим — приверженец ружинского ребе * и носит голубые ципес. Нойах же — белзепского цадика *, который не признает голубого цвета. Снова Ерухим с Нойахом сцепились. Слово за слово, и дело о брандмауэре было передано в суд.

Судья заочно решил обязать Ерухима в течение месяца обеспечить свой дом брандмауэром, в противном случае дом будет разрушен.

У Ерухима и трояка не было. На сей раз Нойах был неумолим. Ерухим подал жалобу на Нойаха раввину. Но Нойах к раввину не пошел, а избил его шамеса.

Когда Малка поняла, что дело зашло далеко, она схватила Нойаха посреди улицы за воротник и сама потащила к раввину. На базаре было полно людей, но кто осмелится подойти к женщине, которая колотит мужчину? Жена Нойаха шла за ними, проклинала Малку смертельными словами, но близко подойти боялась. У раввина Малка рассказала всю историю от начала до конца. Она требовала, чтобы Нойах построил брандмауэр и дело закрыл!

Наш раввин знал: оправдай он одного, другая сторона будет против него. Как ученый муж, он нашел выход. Раз спорят два хасида, пусть они поедут к ребе. Нойах согласился, Ерухим тоже, и оба поехали в Белз, к цадику.

Перед отъездом Ерухим оставил на всякий случай своему шурина уверенность и несколько рублей.

Но все шло из рук вон плохо. Шурина деньги проел, пли, как он выразился, потерял... Малка от больших неприятностей заболела...

Ерухим дело выиграл, ребе предписал Нойаху выдать наличными на брандмауэр и на «проездные». Но на обратном пути Нойаха и Ерухима поймали на границе и домой отправили этапом.

Когда Ерухима привезли, Малка уже была на том свете, а домик развален.

ПРОСВЕЩЕНЕЦ *

Не думайте, что в Тишовцах люди необразованные. Есть здесь и просвещенец, самый настоящий. Он — человек средних лет, нигде не учился, ничего не читал, книг у него нет, газет не покупает, одним словом — просвещенец...

Бороду он не бреет; в Тишовцах довольствуются стрижкой. Говорят, он завивает волосы. Одет он не по-немецки *. Фельдшер в Тишовцах тоже одет не по-немецки. Он просто еврей в длинном капоте и с пейсами.

Наш просвещенец чистит сапоги и носит черный галстук. У него маленькие пейсы, но зато шляпа с широкими полями. О нем «простые» люди говорят: «Ему очень повезло. Имеет лавку, и всего трое детей. Чего ему не хватает? Вот он и просвещенец!»

Почему он просвещенец, трудно сказать, но все знают, что он просвещенец, весь город об этом говорит, и сам он выдает себя за просвещенца. Главное — это его язык, он откровенно высказывается против начальства.

Как я впоследствии узнал, он и меня считал просвещенцем. Он был уверен, что я остановлюсь у него и о нем «напишу».

— Для такой профессии, — сказал он, — надо иметь людей с головами. С вами, идиоты, он разве что-нибудь сделает?

Если гора не пришла к Магомету, потому что не знала о нем, то Магомет пришел к горе. Нашел меня просвещенец в доме вдовы. Влетел с вопросом: «Что это у вас за работа?»

— Господи, — сказал он, — чем вы здесь заняты?

— Где здесь? — спросил я.

— Вы, вероятно, думаете, что я из-под печки. Если живем в Тишовцах, то мы уже не люди, не знаем, что на свете творится? Я таки здесь живу, по нюх у меня...

— А если у вас есть нюх и знаете, что на свете творится, зачем вы меня спрашиваете?

Шамес наострил уши. А несколько бездельников, которые ходили за мной по пятам, стали внимательно прислушиваться к нашему разговору. Их лица выражали явное удовольствие. «Пусть встанут мальчики» *, — подумали они, то есть посмотрим, как два просвещенца лягаются.

— На что мне уважение? — говорит просвещенец раз-

драженно. — Мой язык не подошва. Перед кем я должен здесь выпендриваться? Перед тишовицкими ослами? Посмотрите на это быдло.

Я смотрел на него в недоумении. Защитить местных жителей я не мог, потому что в окнах и дверях они ему мило улыбались.

— Скажите, что собой представляет ваша писанина?

— Статистика.

— Статистика-шмистика. Мы уже слышали такое. К чему это?

Я рассказал, зачем нужна статистика. Не ему, а тишовицким обывателям.

— Ха-ха-ха! — грубо и звонко расхохотался просвещенец. — Вы можете уговорить тишовицких ослов, но не меня. Почему вы записываете, у кого в доме есть пол, а у кого его нет. Какое вам дело до этого?

— Надо же знать, как народ живет. Думают...

— Ничего не думают, — перебил он меня, — а если и думают, то зачем надо точно знать, сколько у нас мальчиков, сколько девочек, их возраст? И все болячки, которые вы записываете?

— Нас подозревают, что мы не служим в армии, в книгах гражданских актов даем неточные сведения. Мы хотим...

— Ладно, — перебивает он снова меня, — ладно. А патенты? Зачем вы записываете, у кого они имеются и на какой срок?

— Доказать, что еврей...

Просвещенец не дает мне закончить фразу.

— Не рассказывайте мне бабушкины сказки! — кричит он. — Узнают, что у одного патент дешевый, его и за жабры!

Едва просвещенец произнес эти слова, как народ, торчавший в окнах, немедленно исчез. Люди испугались. Через два часа имя мое было на языке всех местных обитателей. Меня заподозрили в том, что я подослан акцизом *, который, мол, понимает, что еврей лучше откроет все секреты еврею.

Я бродил по рынку в одиночестве. Местечко меня не замечало. Только просвещенец ходил за мной по пятам. Ему хотелось со мной еще о чем-то поговорить. Но мне он страшно надоел. Я видеть не мог его рожу.

Лица людей, встречавших меня на улице, становились серьезными и мрачными. Я решил, что мне пора удирать,

но вспомнил, что теперешний тишовицкий раввин был у нас когда-то даеном*. Он меня, вероятно, не забыл. Во всяком случае он засвидетельствует, что я не тот, за кого меня здесь принимают.

— Где живет раввин? — спросил я просвещенца.

Он обрадовался и ответил:

— Идемте, я вас провожу.

7

ТИШОВИЦКИЙ РАВВИН

Кто не видел ночной халат тишовицкого раввина, тот никогда не будет знать, почему раввинша, его третья жена, женщина, еще не достигшая среднего возраста, уже носит большие очки на носу. Ночной халат залатан так, что кажется, будто он состоит из разных ниток.

— Если бы еще тридцать копеек в неделю давал мне город, — жалуется раввин, — я смог бы свести концы с концами. Без этих денег мне не сладко. Но я своего добьюсь... Без раввинского суда они могут обойтись. Для тяжб им хватает благочестивых евреев и светских судов. О кошерном* горшке судит любой меламед. Но я своего добьюсь, жду только выборов руководителей общины. Без раввина выборов не будет. Посмотрим, как город обойдется без руководителей. Они у меня в руках.

Трудно было отвлечь раввина от его горестных размышлений. Однако когда просвещенец обещал ему поговорить с кагалом о надбавке, он попросил нас присесть и выслушал.

— Глупости, — сказал он мне, — я знаю тебя! Скажи им, дуракам, что я тебя знаю.

— Они убегают от меня!

— Э, убегают! Что значит убегают? Кто убегает? Зачем? Но раз, говоришь, убегают, то я сам с тобой пойду.

— В чем ты пойдешь? — отзывается женский голос из-за печки.

— Дай, пожалуйста, кафтан! — отвечает раввин.

— Дать? Я его только что распорол!

— Ладно, — сказал раввин, — не к спеху. Завтра пойдем.

Я даю ему понять, что час еще ранний, а мне жаль дня.

— Что же мне делать? — спрашивает раввин и ломает

пальцы. — Видите ли, раввинша взялась за мой кафтан...

— Позовите их сюда!

— Позвать можно, но кто пойдет на мой вызов? Может, пойти в ночном халате?

— Не подобает, ребе! — говорит просвещенец. — Стражник ходит по улице!

— Я, — говорит раввин, — пошел бы, но вы говорите «нет», значит нет.

Сошлись мы на том, что все трое обратимся к народу из окна. Но открыть окно было нелегко. Лет пятнадцать его не открывали. Стекла сожжены солнцем и дребезжат при каждом шаге. Замазка высохла. Рамы продырявлены древесным жучком. Есть ли у них петли? Кажется, вклеены в проем стен.

Но нам все-таки удалось открыть сперва одну половицу, затем вторую без ущерба. Раввин встал между просвещенцем и мною, и мы втроем стали звать народ.

На рынке было многолюдно. Через несколько минут люди заполнили дом раввина.

— Господа, — обратился к ним раввин, — я знаю этого человека...

— Он не будет писать? — отозвалось несколько голосов.

Раввин сразу потерял дар речи.

— Нет! Нет! — пробормотал он.

Тем временем просвещенец залез на стол и закричал:

— Ослы! Писать надо! В интересах всей общины! Мы с ним все уяснили, уточнили. У него рекомендации от раввинов!

— От каких раввинов? — орут со всех сторон.

— От парижского! — кричит просвещенец изо всех сил. — От лондонского!..

— Евреи, домой! — перебил его кто-то. — Не наши это люди...

Народ кинулся врассыпную. Остались мы втроем и шамес, который придвинулся ко мне.

— Подарите мне что-нибудь, — попросил он.

Я дал ему несколько десятикопеечных монет. Не сосчитав, он бросил их в карман, и, не попрощавшись, ушел.

— О чем вы задумались, ребе? — спросил я раввина.

— Я очень, очень боюсь, как бы мне не помешало...

— Вам?

— Кому же? Тебе? Виданное ли дело! Если ты не сде-

лаешь статистику, обойдутся без нее... Ибо не спит и не дремлет страж Израиля!.. * Я же думаю о тридцати копейках в неделю!

В больших очках появилась из-за печки раввинша.

— Я давно тебе говорила, — сказала она, — не вмешивайся в дела кагала. Ты разве слушаешь меня?

— Успокойся, раввинша, тихо, — ответил он ей мягко, — такой уж я человек, сердце у меня доброе, отзывчивое. Конечно, жаль двух гульденов в неделю!

8

РАССКАЗАННЫЕ ИСТОРИИ

«Печальный и закрыв голову», вышел я на улицу вместе с просвещенцем. По дороге встречаем шамеса, который заверил, что завтра можно будет снова начать, как ему кажется, «писать».

Весь тарарам натворили два обнищавших обитателя. Теперь по бедности один — шинкарь, а другой — лошадиник. Так пояснил шамес.

Просвещенец обещает, что между предвечерней и вечерней молитвой он побеседует с народом. И «не будь он Шмерл» (такое имя у просвещенца), если он не «перевернет месточко».

— Опи, — добавляет он, — пусть хоть на головах стоят, но писать нужно! Уста запретившие должны разрешить...

Я возвращаюсь к реб Боруху. Служка — со мной.

У моего хозяина-вдовца собрался миньен *. Перед предвечерней и вечерней молитвами говорили о политике, а после вечерней — о евреях. Большинство настроено оптимистично: во-первых, погром их не коснется, во-вторых, с «родом Якова» * им не справиться. У него разум есть! В-третьих, ничего нет постоянного, в-четвертых, бог поможет, в-пятых, цадики не допустят.

Старая песенка.

— Поверьте мне, — вскакивает еврей с маленькими живыми глазками и узким лбом, — поверьте мне, если было бы единство среди всех цадики, если бы они все держались заодно, мессия пришел бы.

— Казиницкий ребе, блаженной памяти, уже больше не спорит? — спрашивает кто-то.

30

— Одна ласточка не делает весны, — ответил ему молодой человек. — Вот если запрет о вражде распространился бы на весь еврейский народ...

— Если бы издали запрет, — шутит кто-то и бросает на меня взгляд, — нечестивцы начали бы молиться, пришел бы и мессия!

Народ смеется.

— Да, наши разговоры ни к чему, — сказал кто-то, — ведь цадики врозь...

Народ призадумался, покряхтел. Каждый вспомнил, сколько пощечин он уже получил, сколько горя уже пережил. И все потому что типовицкие обыватели страдают от раздоров. Чтобы из разговора не возник спор, кто виноват в отсутствии гармонии среди «великих», все замолкли. Только я позволил себе сказать, что в раздоре больше всего повинна нищета. Дел никаких, торговать нечем, бездельничают, ищут себе занятие, чешут языки, спорят, ругаются. В больших городах, где каждый занят своими делами, спокойно.

— Если бы кто-нибудь, — сказал я, — забросил в Типшовцы пару тысяч рублей, забыли бы обо всем этом.

— Великое это дело богатство, — отозвался один. — Был бы у меня разум величиной хоть в ноготь, я бы весь этот город запрятал за пазуху... Я должен был захотеть...

— Правда, сущая правда! — понеслось со всех сторон.

Еврей, которому не хватало ноготка разума или воли разбогатеть, выглядел, как сама нищета: худой, сгорбленный, замученный, и кафтан на нем напоминал халат раввина.

Вперед вышел просвещенец.

— Реб Эля, — с усмешкой говорит он, — вы свой большой выигрыш продали за час до розыгрыша, так, что ли?

— Чего ты ржешь? — ответил ему Эля. — Ты забыл историю...

— Лопнуть бы моей голове, — сказал просвещенец, — если я помню враки, которые когда-то слышал.

— Враки! — обиделся Эля. — Чуть что — так сразу враки.

Я вмешался в разговор.

— Расскажите свою историю, — попросил я Элю.

— О воркском цадики, блаженной памяти, вы, конечно, слышали, — начал Эля свой рассказ.

— Разумеется.

— Его знали все. Его посещали литваки *, люди свет-

31

ские и даже неевреи. Мне бы столько золота, сколько литваков я у ребе видел. Один раз одного из них чуть не избили, потому что он стал противоречить ребе, когда тот толковал текст из Талмуда. Но не это главное... Я хочу сказать совсем другое: воркский цадик был с богом, как брат с братом. Однажды ребе, например, в присутствии хасидов запросто сказал всевышнему: «Господи, доколе ты будешь мучить своих евреев жарой, они же не могут в такую жару сидеть за фолиантами Талмуда». Ребе получил какой-то знак свыше. «Ах так, — говорит он, — это другое дело. Раз ты намерен за это им воздать сторицей, то я согласен. Пусть. Но, создатель, прошу тебя, кое-что из обещанного дай им здесь, в земной их жизни». Мы все почувствовали, ребе слышит голос свыше. «Ну-ну, пускай, — сказал ребе, — коли ты говоришь «нет», мы подождем, ты кредитоспособен». Но не это главное. Надо было видеть ребе во время обрезания. Младенца он сам лично держал на коленях, никому не доверял. Ребе говорил, что нож моэла * вызывает страх, ибо, как сказано: «Желание боящихся Его Он исполняет».

— Люди, — продолжал свой рассказ Эля, — разузнали о связях ребе с небом. Он понял, раз люди открыли его тайну, стало быть, ему скоро придется уйти в мир иной. Задуманные мысли воркского цадика стали известны его габая * Мойше, шурина моей первой жены. Стало быть, и я был посвящен в ожидаемые дела цадика. Мойше за болтовню на полгода прогнали, но переживания его были столь велики, что ребе сжалился над ним. Но не это главное.

«Сказал я в сердце своем», то есть молчу, не пойти же мне к нему и морочить ему голову своими заботами, раз он должен вот-вот преставиться... Тогда я жил всего за милю от Ворки. Первая жена моя еще жива была, и все шло хорошо. Концы с концами сводили, правда, с трудом, но я зарабатывал сватовством, а она имела лоток со всякой всячиной. Кормились кое-как, даже содержали старшую дочку с мужем — замечательным талмудистом.

Чего мне не хватало?

И был десп, зять уехал в Геры, у нас в местечке ярмарка, а у дочери начались роды. Первые, тяжелые. Бейля-Баша, наша бабка, обессилела. Третьи сутки продолжались схватки. Банки, пиявки не помогли. Плохо, что говорить. Узнаю, что скоро ребе к нам приезжает на обрезание. «И были тогда у евреев свет и радость», мы все обрадова-

лись, новую душу обрели. Молим бога, чтобы он дал силы нашей дочке продержаться еще полтора дня. Но ей стало совсем худо. Все же за несколько часов до приезда ребе ей стало, как мне показалось, лучше. Спокойная, с открытыми глазами, она упрашивала мать пойти на ярмарку, а меня попросила подойти к постели... Глупая женщина. Они все такие. Во время родов они нас ненавидят. «Знаешь что, отец, — говорит она мне, — Шмулик, муж мой, мне не нравится! Он мне никогда не нравился. Он был мне противен с первой минуты. Терпеть его не могу. Мне лучше умереть». Она выпроводила маму, потому что ее она боялась. Моя первая жена была женщиной горячеей, она чуть не избилла дочку под венцом. Даю понять дочке своей, что таковы все женщины в ее положении, даже бывают такие, которые дают обет больше не спать со своими мужьями. Но этакие обеты бог прощает... «Не нужны мне, — отвечает она, — ни обеты, ни прощения. Я таю как свечка».

Вздор, думаю я, ведь вижу, что ей полегчало, что она при полном сознании, она даже красивее стала. И до приезда ребе осталась какая-нибудь чепуха. Сижу я так около ее кровати, разговариваю с нею... Бабка тем временем ушла на базар коляску купить. Смотрю на часы, думаю, пора пойти к ребе. Смотрю на нее, ну, вполне здоровая. Все же оставить ее одну не хочется. И дома нет никого. У нас, должен я вам сказать, ярмарка бывает раз в году, и кормит она наших обитателей целый год. Поэтому даже около ребе в дни ярмарки нет никого. Думаю, подожду полчаса... Неожиданно ей дурно стало. Схватила она меня за руку, лицо у нее искривилось, совсем плохо. Она хрипит, я зову на помощь. Но куда там, когда на рынке стоит гул тысячи голосов. Хочу вырвать руку, она не дает... Проходит минута, две, горько мне. С трудом вырвал руку и побежал прямо туда, где ребе остановился. Несусь как сумасшедший. Было это летом, в жаркие дни, но я облился холодным потом. Чувствую, дочь моя умирает... Слава всевышнему, увидел я дом Цемеха, где ребе справлял обряд обрезания. Через окно вижу, как расхаживает ребе, чуть не разбил стекло, сердце стучало, как у убийцы; слышу ее голос: «Папочка, папа!»

Рассказчик перевел дух. В глазах у него стояли слезы. Он закончил свою печальную историю тихими словами:

— Не повезло! У окна лежала грудa камней, я споткнулся и разбил лоб. Еще до сих пор видна ссадина... Когда меня ввели к ребе, он на меня махнул рукой... Когда я

вернулся домой, она уже на полу лежала... Должно быть, упала, когда агония наступила...

Всем стало тяжело, будто камень сдвигал наши сердца. Люди замолкли. Только просвещенец нашедся и сказал:

— Благословен судья праведный! * Но где же богатство?

Эля рукавом отер слезы, грустно улыбнулся и продолжал:

— Да... Я хотел сказать вам, что такое невезение. Пришла беда, да не одна... Вскоре жена скончалась. Лоток опустел. Разве лоток — мужское дело? Короче, я остался без куска хлеба. Вторично женился. Взял женщину постарше. Пусть только займется лотком... Но не угадал, что ни год — сын! Что делать? Кругом нищета. Я и решил написать шурину моей второй жены, чтобы он поговорил обо мне с воркским цади́ком.

Проходит ровно месяц. Приехал ко мне посыльный и просит явиться к ребу. Я немедленно к нему отправился.

— Опять куча камней оказалась на вашем пути? — шутит просвещенец.

Эля презрительно посмотрел на него.

— Как он смотрит на меня! Ты болван, — говорит просвещенец. — Когда ты сюда приехал, кто тебе помог? Воркский хасид? Сам цади́к? Ты давно подох бы с голоду, если бы не я!

Обратившись ко мне, просвещенец сказал:

— А кто он теперь, как вы думаете? Меламед для моих детей, заберу детей, и он останется без куска хлеба.

Эля молчал.

С каждой минутой просвещенец становился мне противнее.

— Рассказывайте дальше, — прошу я Элю.

— Поглядите, — сказал Эля просвещенцу, — наш «писатель» образованнее, чем вы, и он не насмехается... Рамбам * в колдовство не верил, но когда его спрашивали, он отвечал по-человечески, не издевался, а вы?

— Ну! Ну! — произнес просвещенец мягче. — Ладно уж, рассказывайте конец своей истории.

— Буду краток, — говорит Эля. — Пришел я к ребу без письменной просьбы и «выкупа». Лицо мое было мертвенно бледным, руки и ноги мои дрожали, а язык присох, слово сказать не может. Ребу осмотрел меня сверху донизу, а затем неожиданно крикнул голосом льва: «Что тебе надо?!» Я испуганно произнес только одно слово: «Богатство».

Ребу, должно быть, не расслышал. «Богатство?» — кричит он. «Хотя бы заработок», — ответил я тихо. «Какой заработок?» — опять кричит ребу. «Хотя бы что-нибудь, чтобы не умереть с голоду», — говорю я совсем тихо.

Вдруг ребу подбегает ко мне и спрашивает: «Что еще?»

Знаете, я был на волосок от смерти. Ответил не я, а какой-то чужой мне человек: «Хочу, чтобы сын Иосиф был выдающимся ученым-талмудистом...» И больше ни слова. Еле живой ушел я от ребу. А он, царствие ему небесное, через неделю скончался. Сами понимаете, настоял бы я на своем, просил бы только богатство, имел бы я его.

— А ваш Иосиф, — спросил я, — стал хорошим знатком Талмуда?

— Конечно, — отвечает мне Эля, — если захотел бы, смог... Ребу здесь ни при чем. Не хочет учиться, хоть лопни.

— Бабы сказки, — вмешался в разговор просвещенец, — главное, нельзя, чтобы мусор горой лежал у окон, и нельзя появляться к цади́ку без «выкупа», бояться ребу.

Бледно-желтый Эля вспылил, подбежал к просвещенцу и дал ему оплеуху.

Опасаясь, не умрет ли Эля с голоду.

9

МАЛЬЧИК

Четырехлетний обаятельный мальчик реб Бореха не выходит из моей головы. Стоит он перед моими глазами плачущий, с головкой зеленого лука в руке, а то вижу его в синагоге во время молитвы и слышу, как он по-детски серьезно, плачущим голосом читает кадиш *. Сердце содрогается... Когда хасид Эля вцепился в просвещенца, мальчик сильно испугался, побледнел и позеленел. Взял я его за ручку и сказал:

— Пойдем погуляем.

— Погулять, — еле слышно повторил малыш.

— Ты никогда на чистом воздухе не гуляешь?

— Теперь нет. Когда мама, блаженной памяти, жила, тогда в праздники мы ходили гулять... Папа, да продлит господь ему годы, говорит — лучше читать книгу...

Мы вышли на улицу. Над Тишовцом небо висит как темно-синий мундир с серебряными пуговицами. Малышу оно показалось занавеской священного ковчега, вышитой серебром, или сине-белым мешочком для тефили, который лет через шесть ему подарит его невеста.

Ночью местечко выглядит совсем иначе. Кривые домишки исчезают в ночном тумане, а окна становятся похожими на большие лучистые глаза...

В печки, должно быть, уже засунуты горшки с водой для картошки или клецок. Согласно данным статистики, доход на одну душу в Тишовце в среднем равен тридцати семи с половиной рублям в год, приблизительно десяти копейкам в день. Посчитайте: за обучение, за посуду, на праздники, на лекарства, на содержание цадика — что же остается на еду? Бульон здесь редкий гость, клецки готовят из плохой муки, без яиц. Едят здесь сухой хлеб, иногда с селедкой.

Ночью домишки здесь слепые. Большая часть обитателей ложится спать без ужина, с одной вечерней молитвой... Вдовы в молитвенном исступлении бьют себя в грудь. А кое-кто из них примеряет на себя саван из белой материи, вспоминая свое подвенечное платье и роняя из старых глаз слезу. Улыбаясь ночной мгле, вдова спрашивает: «Что нужно женщине?»

У малыша свое на уме. Подпрыгивая на одной ножке, он тянется к луне, которая глуповато плывет по небосклону.

Малыш вздохнул.

— Что с тобой? Ты увидел падающую звезду?

— Нет, — говорит мальчик, — я хочу, чтобы мессия пришел.

— Что вдруг?

— Хочу, чтобы луна стала большой. Она, правда, согрешила *, но сколько можно страдать? Уже шестое тысячелетие пошло...*

У малыша только две просьбы: у родного отца он просит еще одну головку лука, у отца небесного — увеличение луны.

Захотелось мне сказать мальчику: отец твой скоро еще раз женится, мачеха появится в вашем доме; будешь плакать и просить кусочек хлеба, прости отцу, забудь луну...

Я еле сдержался.

Когда мы оказались за пределами местечка, мне почудилось, что в этих местах малыш гулял со своей мамой и

она ему говорила: «Смотри, сын мой. Вот так растет пшеница, а это рожь, картошка».

— А вот здесь, — указал я мальчику, — растет терновник.

— Говорят, ослы едят терн. Почему богу угодно было, чтобы каждое животное питалось по-разному? — спросил меня мальчик.

— Малыш, — ответил я ему, — если бы все ели одно и то же, то были бы все одинаковы.

10

ЯРЫШЕВСКИЙ РАВВИН.

Он — человек «с выгодами»: получает четыре рубля в неделю и имеет все необходимое. А что нужно деду да бабе?

До своего приезда в Ярышев он был даеном в большом городе и там тоже получал четыре рубля в неделю. Но там он с трудом сводил концы с концами.

Вот его рацион: на завтрак — молочный суп, в обед полфунта мяса на всю семью, на ужин — чай с бубликами. Но и такая еда оказалась не по доходам. В большом городе, рассказывает он, обед разоряет. Как избавиться от желудка? Не хвор он после завтрака дожидаться ужина. А утром удовлетвориться борщом... В большом городе ему плохо жилось...

В будние дни он не ел мяса: мясо — пища тяжелая, обожал он луковицу с простоквашей. Простокваша для него приятнее капусты. По натуре он вегетарианец. А раввинша совсем другой природы человек. Она — душа завистливая. У жены резника есть мясо, а она даже косточки не имеет. Это же ужасно!

В Ярышеве, слава богу, ему хорошо. Здесь все едят мясо только по субботам. И то баранину. Раввинше некому завидовать, а это главное.

— Завидовать, — ворчит раввинша.

— Ну да, — тихо смеется раввин, при этом глаза его слезятся, острая борода и маленькая круглая голова трясутся, — ну да, дело, конечно, не в твоей грешной плоти, а в защите чести Торы *. Почему резник ест мясо каждый день, а даен только по субботам? Ведь даен выше резника!

Радуется раввин и тому, что в Ярышеве чистый воздух. А что там, откуда он приехал? Обитатели большого города строят большие дома, в верхних этажах живут богачи, в нижних и в подвалах, а также на чердаках под самой крышей прозябают бедняки и служки общины.

Летом он там задыхался. Дошло до того, что раввинша спрятала от него табакерку, чтобы он не нюхал табака. Однако табакерку пришлось вернуть, так как без табака — он не человек. Без нюхательного табака он не может сидеть за столом и читать гемару *. Если не нюхать, то хотя бы вертеть табакерку в руках во время чтения или разговора просто необходимо. В противном случае он теряет дар речи и связь мыслей.

Когда он прибыл в Ярышев и увидел заросший травой рынок, ему захотелось танцевать под аккомпанемент музыки... Его радовали деревянные маленькие домишки величиной с его табакерку. Только один дом здесь высокий и кирпичный — дом помещика.

А лестницы, от которых он избавился... Чего они ему стоили? Еще год — и он от лестниц без ног остался бы. А покой! Кругом тишина, собаки не лают, дети, не будь рядом помянуты, не кричат. Да и всего-то здесь около тридцати детей, за которыми следят шесть учителей, не то что в большом городе. И в Ярышеве мальчики орут, но только в пурим * или в ханука *. А так — тихо, и шороха не слышать.

Главное то, что Ярышев, слава богу, местечко без раздоров. Правда, здесь проживают два-три хасида, но раввин молит бога продлить их жизнь. Раздоры могут возникнуть, когда они умрут, из-за того, где и как их хоронить. А так — тихо!

Жители местечка всегда в движении, ремесленники и те не сидят дома, все норовят в деревню в поисках работы. Даже фельдшер и тот носится по местечку со своими банками и склянками. Утром можно видеть, как обитатели Ярышева вылезают из своих курьих избушек, бегут за город, там снимают ботинки, забрасывая их на свои плечи, и несутся в разные стороны, кто куда. Только в пятницу вечером все вновь возвращаются домой. Остается ли время для споров и раздоров?

В субботу или в праздник, когда все собираются в синагоге, иногда возникает скандал, но несущественный. Что и говорить, — народ здесь не привык к скандалам, ему не до этого.

Потому раввин сидит себе и спокойно изучает священные книги.

Иногда, с улыбкой рассказывает раввин, бывает у него стычка с резником на почве религиозного казуса, скажем, по вопросу о «мясных» и «молочных» горшках *, тогда приходится перелистывать все трактаты Талмуда. А резник человек упрямый, с ним трудно. И привычка у него странная: этот упрямец, жалуется раввин, говорит, что это я — норовист и несговорчив.

Вскоре после приезда в Ярышев у раввина были неприятности. И во всем виновата была раввинша.

Дело было так. Он договорился с кагалом служить за четыре рубля в неделю. До Ярышева раввин тоже получал четыре рубля в неделю, а сверх того — торговал дрожжами.

В «великую» субботу * он произнес проповедь о хомеце *. Народ пришел в восторг. Местечко кудону ходило. Даже невежды хвалили его речь. Души всех людей, пояснил раввин, находились у подножья Синая, когда господь бог вручил Тору Моисею, потому как и неучи в состоянии уловить смысл хорошей проповеди. И Ярышевский кагал решил тоже подбросить ему торговлю хлебной закваской. В ту минуту, говорит раввин, он возгордился, за что и был богом наказан.

Все дни недели шла тяжба между раввиншей и жепщинами местечка: одна придет и кричит, что дрожжи испортили ей халу, она оказалась очень крутой, другая утверждает, будто хала вышла жиденской. Подозревали, что раввинша добавляет к закваске много воды. Раввинша это отрицала.

Глупо, конечно, затевать тяжбу с собственной женой. Ищу, говорит раввин, выхода: в пятницу вечером обмениваю свои калачи на чужие неудавшиеся. Беда! Кончилось тем, что какой-то портняжка привез, слава богу, спрессованные дрожжи и раввинша перестала торговать закваской.

История с дрожжами это не все. Послушайте, и вы узнаете еще одно приключение: с домом.

— Заметил я, — рассказывает раввин, — что жена откладывает мелочь в кубышку. Ну, думаю я, пускай. Хотя дети, слава богу, не нуждаются, но, быть может, она копит для подарка внукам. Сам я, — смеется раввин, — противник всяких подарков, но стоит ли из-за этого воевать с женой? Может, подумал я, она откладывает на будущее. Сам я сто-

ронник молитвы «благословен господь за жизнь, которую он дает нам изо дня в день», а умрем — на саван найдет-ся... Но раз женщина копит — бог с ней.

Как-то раз, она еще хлебной закваской тогда торговала, мне в синагоге рассказывают, что она купила бревна. Зачем? Узнаю: собирается поставить хатенку. Она не хочет быть квартиранткой. Хорошо, не вмешиваюсь в ее дела. Она таки домишко построила, и я перебрался в новую избу: перенес все трактаты Талмуда. И оказался хозяином дома!

— Было бы все хорошо,— продолжает раввин,— но дом этот был построен вдали от синагоги. А ноги у меня не ходят. Кроме Талмуда, у меня нет никаких книг, а из синагоги их на дом не выдают. Не только раввину, но даже главе кагала. А как быть? Сидеть дома без раввинистической литературы нехорошо! Однако благо-словенно имя господа бога нашего! Случился пожар, во время которого сгорела и моя хата. Хозяева не очень пострадали, их дома были застрахованы. И я не пострадал. Меня, как видите, устроили жить в синагоге. Очень хорошо!

11

ЛАЦОВ

Летом поздно ночью, около двенадцати, я приехал в Лацов. Опять рынок в окружении деревянных и кирпичных домишек. А на базарной площади — груда белых камней. Подъезжаю, смотрю — камни эти с рогами: стадо коз расположилось в центре рынка.

Козы никого не боятся. Только одна или две задрали головы, сонливым оком поглядели на меня и продолжали чесаться друг о друга.

Счастливые козы! Никто на вас навета не возводит. Вас и статистикой не запугать. Правда, вас режут. Но кто не погибает раньше времени? Во всяком случае, мук вы терпите гораздо меньше.

Вспоминаю. В Тишовцах мне говорили: «В Лацове вам повезет, там проживают спокойные, тихие люди, никто не потянется за вами хвостом».

Местная община и стадо коз очень похожи друг на друга. Но хозяин, где я остановился, сказал мне:

40

— Все здесь не так просто, как вам кажется. Вы собираетесь обходить все дома?

— А как же иначе?

— Дай бог, чтобы вам ответили на ваши вопросы.

— А почему бы и нет?

— Еврей не любит, когда открывают его кассу и занимаются подсчетом.

— Благословение не придет?

— Нет, проклятие, то есть кредит уйдет.

12

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Рано утром, еще до прихода шамеса, меня посетило несколько человек. Пришли посмотреть на переписчика. Слух обо мне опережает меня. Делаю первую попытку и приступаю к опросу.

— Здравствуйтесь, дружище!

— Здравствуйтесь!

Лениво подает он мне руку.

— А как вас зовут, дружище?

— Леви-Ицхок.

— А по-немецки?

— Зачем это вам знать?

— Это что, секрет?

— Секрет не секрет, но мне вы можете сказать, зачем вам надобно знать, как звучит мое имя по-немецки. Это ведь не секрет?

— Разве сами вы этого не знаете?

— Нет, не знаю.

— А фамилия ваша?

— Бернпелц.

— Вы женаты?

— Эт!

— Что означает ваш «эт»?

— Он хочет развестись,— пояснил кто-то за Леви-Ицхока.

— А сколько у вас детей?

Он стал считать по пальцам: от первой жены — раз, два, три и раз, два — от второй жены. Очевидно, ему надоело считать, и потому он сказал:

— Ну, положим, шесть.

41

— «Положим» не годится, мне пужно точно знать.

— Почему вы должны знать точно? За вами кто-то следит, вас кто-нибудь проверяет? Точно!

— Скажи, дурень, скажи, раз ты уже начал,— говорят ему другие евреи.

Тогда Леви-Ицхок снова стал считать по пальцам и получилось девять.

— Сколько девочек, сколько мальчиков?

— Четыре сына и пять дочерей.

— Сколько из них замужем?

— И это вам надо знать? Зачем?

— Отвечай, отвечай,— беспокоится народ.

Кто-то вместо него отвечает:

— Женил двух сыновей и выдал замуж трех дочерей.

— Нет, не так! Исролика ты забыл.

— Но он еще не женился.

— Болван, в ближайшую субботу его вызовут к чтению

Торы *. Сколько дней осталось — чепуха.

Я записываю и продолжаю опрос.

— В армии служили?

— Нет, за четыреста рублей откупился. Дестать бы их сейчас.

— А сыновья?

— Самый старший, не про вас будь сказано, с большим глазом, валялся в трех госпиталях, обошлось это в копейку, но из полка его списали, второго пока не трогают, а третий служит.

— А где его жена?

— У меня, конечно.

— А почему не у своего отца?

— Он — нищий.

— Дом вы имеете?

— А как иначе?

— Во сколько вы его цените?

— Стоял бы он в Замоше, цена была бы ему трояк.

— За сто рублей вы продали бы его?

— Что вы, такое владение? За триста не отдам. Дали бы пятьсот — я решился бы, снял бы квартиру и придумал дельце какое-нибудь...

— А теперь чем вы занимаетесь?

— Разве я чем-нибудь занимаюсь?

— На какие доходы вы живете?

— Живем!

— Все же как?

— Как бог дает.

— Не сбрасывает же он с неба.

— Видимо, бросает. А чем же я живу? Посчитайте: я должен иметь доход хотя бы четыре рубля в неделю. Дом приносит двенадцать рублей в год, долой рублей девять налоги и пять рублей на ремонт, получается дырка в кармане в два рубля в год.

Затем мой собеседник гордо заявляет:

— Ни у меня, ни у евреев, которые здесь присутствуют, денег нет. Нет у нас никаких денег! И ремеслом я тоже не владею. Дед мой не был сапожником, и все же, если богу угодно, и я живу. Более пятидесяти лет я так живу. А приходит время выдать дитя замуж, справляю свадьбу. Плясать можно и в луже.

— Итак, кто же вы?

— Я — еврей.

— Чем вы заняты целые дни?

— Молюсь три раза на день, читаю священные книги.

А что еще делать еврею? Хожу на рынок...

— А что вы там делаете?

— Что попадется. Вот, к примеру, два дня тому назад я узнал, что Иона Борик хочет купить для одного помещика трех баранов. На следующий день чуть свет я уже у другого пана, у которого больше баранов. Мы с Ионой договорились, сделка состоялась, и я заработал полтора рубля.

— Значит, вы маклер.

— Я знаю? Иногда покупаю зерно.

— Иногда?

— Если имею рублик, покупаю.

— А если нет его?

— Пытаюсь достать.

— Каким образом?

— Что значит «каким образом»?

Проходит целый час, и я наконец узнаю, что Леви-Ицхок Бернпелц даен и заседает в третейском суде, что он также немного маклер, и торговец, и шадхен *, и посылный.

И все эти занятия еле-еле покрывают его расходы, необходимые ему для того, чтобы прокормить свою жену и детей и старшую невестку, ибо ее отец — нищий.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Я зашел в лавку. Спички, папиросы, булавки, иголки, пуговицы, желтое и зеленое мыло, еще какие-то мелочи — вот и весь товар. У стола лежит старый сошник, очевидно, для приработка.

— Кто здесь живет? — задал я первый вопрос.

— Разве не видите? — ответила мне женщина, которая причесывала девочку лет десяти, и посмотрела на меня удивленными глазами.

«Что это за человек? — подумала она. — Одет как христианин, но разговаривает по-еврейски».

— Положи голову, бесстыжая! — кричит женщина.

— Как зовут вашего мужа? — задаю ей второй вопрос.

— Мойше!

— А фамилия?

— Пропади он пропадом! — вдруг разразилась она проклятиями. — Битых четыре часа прошло, а он все еще у соседки, пошел одолжить у нее горшок.

— Перестань злословить, — говорит ей шамес, — отвечай на вопросы.

Шамеса она боится, ибо он еще сборщик податей и вхож к начальству.

— Кто злословит? И слово уж нельзя сказать о своем собственном муже.

— Как фамилия мужа? — повторяю я вопрос.

— Юнгфрейд, — вспомнил шамес.

— Сколько у вас детей?

— Прошу вас, господин, приходите позже, когда муж будет дома. Это его дело. С меня хватит — лавчонка, дом и шестеро детей. Отстаньте от меня!

Я записываю — шестеро. Спрашиваю, сколько из них замужем.

— Замужем? О, если бы. Седых волос бы не было.

— А у вас все дочери?

— И три парня.

— Чем они занимаются?

— Чем? Страдания они мне причиняют. Зубы у них крепкие.

— Учились бы ремеслу.

Она сморкается, отвечать больше не желает и сердито смотрит на меня.

Я догадался купить у нее пачку папирос. Она стала добрее.

— Сколько зарабатывает ваш муж?

— Он — зарабатывает! Это еще тот кормилец! За горшком послала, четыре часа прошло, а он? Останемся без обеда.

Она вновь стала его ругать. Я ушел, встретил ее мужа на улице. Узнал его, он держал в руках горшок.

В ДОМЕ РЕЗНИКА

Со двора резника доносятся крики петуха, словно он бритву никогда в глаза не видел. Грустно мычит теленок, видимо, проголодался бедняга. Зато под дырявой крышей щебечут разные птицы. У них крылья, им резник нипочем. Летом много червей, да и люди оставляют много крошек... цып, цып... Гнездышки у них убраны, «он» расхаживает в разноцветных перьях, «она» — скромная и тихая самка, их дети сыты, им тепло, и никто их не считает и не опрашивает. Что им до талмудического спора о том, какие животные чистые и какие нечистые. Этим заняты два парня в ермолках, без ботинок и кафтанов. Труд им противопоказан, но зато они знакомы с законами ритуального убийства скота.

Когда бог поделил мир между землепашцем, завладевшим землею, рыбаком, получившим реки, охотником, ставшим хозяином лесов... поэт тогда отдыхал в лесу. Соловей пел ему свои прекрасные песни, и деревья доверительно делились с ним своими лесными тайнами. А поэт не смог оторвать своих глаз от прачки, которая, оголив свои руки и ноги, на берегу реки полоскала белье. К дележу мира он поэтому опоздал. У бога для него остались облака, радуги, роса и птички.

— Раз обладаешь фантазией, — сказал ему бог, — то сам создавай себе миры.

Все завидовали поэту. Крестьянин в поте лица своего обрабатывает поле, рыбак с большим трудом удит рыбу, охотник устает в погоне за зверем. Только поэт легко создает картины мира.

Но это далеко не так. На поверку оказалось, что душа

поэта — камера obsкура, и мир со своими лужами и поросьятами отражается в ней. Пока свинья знает свое место, поэту жить можно. Если же она достигает высокого поста, тогда и мир поэта тоже становится свиным...

Завидовать можно только этим двум парням в ермолках: сыну и зятю резника, они не от мира сего, их головы заняты Талмудом. Между их миром и нашим нет ничего общего — ни моста, ни иной переправы. Поэтому, когда я пришел к резнику, они закрыли свои гемары, сильно испугались и смотрели на меня так, будто я с неба свалился.

Резника не было дома, уехал в деревню. Поэтому телепук мычит еще. И жены резника нет дома, она — в своей мануфактурной лавке.

Сноха и дочь стояли трижды красные у печки. Во-первых, потому, что получали удовольствие от мужей — знатоков Талмуда, во-вторых, оттого, что огонь пылал в печи, а в-третьих, покраснели, увидев меня, чужого мужчину, к тому же одетого «по-немецки». От смущения одна взяла в рот край передника, другая отскочила от печки. Они смотрели на меня недоверчиво и со скрытым неудовольствием.

Мужчины быстро сообразили, что я тот, который «записывает», и охотно отвечали на мои вопросы.

Резник зарабатывает четыре рубля в неделю. Кое-что добывает в деревне. Лавка приносит ничтожно мало дохода. Но всегда имеется живая копейка в доме. Дети обеспечены. Они могут сидеть на харчах хоть до ста лет. Мясо к столу — каждый день. Через сто двадцать лет * один наследует профессию резника, второй — лавчонку, а дом будут пользоваться все вместе.

Сын и зять резника выглядят лучше других обитателей местечка: ремесленников, лавочников, даже шинкаря и лекаря.

Когда я вышел из дома резника, я подумал, что придет время, когда самый лучший заработок будет иметь духовенство.

У резника спимает комнату вдова с тремя детьми. Она платит пятнадцать рублей в год.

Дверь ее комнаты была закрыта, но в окно с улицы можно было увидеть две убранные кровати с белыми подушками, деревянную кухонную утварь, медные кастрюли, висевшие на стене у печи, сверкающий бронзовый подсвечник.

— У нее водится серебро, — сказали мне. — Видите, вон

там стоит кованный сундук, там она хранит канделябры и другие драгоценности. Она при больших деньгах. Неделями она с детьми не бывает в местечке и только по субботам приезжает домой.

15

РАВВИНША ИЗ СКУЛЯНЫ

«Царица Эсфирь осунулась и позеленела, но луч доброты озарял ее лицо» *. Раввинша из Скуляны Эстер тоже позеленела, но не один луч, а множество лучей милосердия освещали ее лицо. Старая, худая раввинша со сморщенным лицом напоминала выжатый лимон. Но лимон этот имел два добрых глаза.

Она родом из Скуляны, одинока. Всех детей она женила, и живут они в разных городах и местечках. С ними жить она не хочет. Невестки и зятя — это не родные дети. А муж крепко держится за жену, и жена за мужа. Недаром в Священном писании сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будет одна плоть» *. Раввинша не желает, чтобы ее дети нарушали заповедь «чти» *. Сказано ведь: «Перед слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему».

— Бог, да благословенно имя его, так сотворил человека, — говорит раввинша, — что он не видит никаких недостатков у близких ему людей; в противном случае — о, сколько было бы разводов!

Скулянский раввин как-то сказал, что вдова, которая живет у детей, дважды вдова. А его слова, говорит Эстер, «надо взять под стекло в золотую рамку и носить на шее вместо медальона».

— И то правда, — тихо вздыхает раввинша, — сейчас медальоны не носят. Сейчас в моде искусственный жемчуг.

В Скулянах она не захотела жить. С того дня как скончался ее муж — скулянский раввин, город ей опротивел.

— И в самом деле, — говорит она, — с его уходом ушли из города свет, величие, сияние.

В Скуляны она приезжает один раз в год, в день поминок мужа.

Сорок лет она с ним прожила. Те, кто знали его, утверждают, что она стала походить на него. А был он миснагидом *, и она поэтому в грош не ставит цадиков. Он отвергал каббалу *, потому и она дни напролет читает Цеэно-

Урено * или Шулхан-Арух * на языке идиш. Через каждые два слова она ссылается на скулянского раввина. Ее повадки, и голос, и привычки — его.

После того как ее муж ушел в мир иной, она слушать не желает чьи бы то ни было чтения молитв. Читает она их сама и таким же голосом и напевом, как, бывало, читал он.

Она могла бы разобраться и в религиозных казусах. Недаром сорок лет стояла она у печки лицом к столу, где сидел раввин, и глазами голубки впивалась в него и вслушивалась в каждое его слово. Она действительно была, как в Писании сказано, «помощницей, ему соответственной» *. И потому его мысли нашли отклик в ее уме, а его доброта нашла прибежище в ее сердце.

Река, меняя свое русло, оставляет на екалах своих следы; скулянская раввинша была не скалой, а губкой. Она впитала в себя всю ученость своего мужа.

Современный мир ей не нравится. «Люди грешат, но об этом, — говорит Эстер, — пусть бог сам заботится. Если его евреи нечестивцы, значит, ему так нравится». Но бессмыслица ее беспокоит. «Ну зачем, — говорит она, — употребляют дорогие ткани? Ведь и они — паутина. А зачем шьют платья по-новому, с клиньями? И поверьте мне — это некрасиво. В моих глазах — во всяком случае».

Она никого не презирает и ни к кому не питает ненависти.

— Мой муж, скулянский раввин, блаженной памяти, — был миспагидом, но хасидов он не трогал, не преследовал.

Однажды почетные хозяева города пришли к нему с криком: «Хасиды с опозданием читают предвечернюю молитву». И она хорошо помнит, что он им ответил: «Существуют разные армии и разные виды оружия, по все они служат одному царю. Даже сапоги, — добавил он с мягкой улыбкой, — шьют не на одну ногу».

Она помнит все его поговорки. В жизни она ведет себя точь-в-точь, как он. Муж ее, бывало, сердился на того ремесленника, который вставал перед ним, ибо раввин восхвалял тех, кто в поте лица добывает свой хлеб насущный! Потому по прибытии в Лащов, имея наличные, она открыла цех по производству поташа.

— Это не плохое дело, — говорит она. — Зарабатываю, слава богу, два-три рубля в неделю, потому что мой поташ зарекомендовал себя. Но времена какие? Приходится продавать в кредит, и мало кто погашает свой долг...

Смотрю и думаю, где же необходимое оборудование для производства поташа?

— Для этого дела ничего не нужно, — поясняет раввинша. — Достаю золу, к ней добавляю картошку и другие овощи, перемешиваю и протираю в воде. Затем ставлю в печь. Если дать воде испариться один раз — получится нечистый поташ. Вторично ставлю эту смесь в печь и получаю «литер», то есть чистый поташ.

Когда я уходил, она спросила меня:

— Скажите на милость, когда ваши записи попадут в руки сильных мира сего, они не потребуют от меня патента?

16

ЗАСТРАХОВАНО

Тихая летняя ночь. На горизонте чернеет роща. Наши предки высекли на ее деревьях разные слова Талмуда в знак проделанного пути. Глава народа сказал: «Пой-лин», то есть: «Здесь мы будем ночевать». Потому страна называется Польшей.

С рощей связана еще одна легенда. У одного ламедвоника * была коза, и она, чуть заря, убежала на пастбище в лес и возвращалась оттуда с тремя крынками молока.

Справа от рощи, вдоль реки, расположилось местечко. На одной из его улиц, прямой и мощеной, стояли кирпичные дома с кровлями из жести. Обитатели этой улицы убеждены, что они всегда будут здесь жить, до самой смерти. И если ворвутся к ним все ветры мира, они не сумеют сдвинуть их дома с места.

На другой улице стояли маленькие сосновые избушки под соломенными крышами. Подует сильный ветер — и не станет курьих домишек. На что рассчитывают жильцы этих хат — такие же жалкие, узкогрудые, с впавшими тоскующими глазами?

Со дворов этой улицы доносится пение петухов, кудахтанье кур и гогот гусей.

В лужах квакают лягушки, иногда мычит еврейский теленок, а нееврейская собака на мощеной улице отвечает лаем на смиренный голос скотины.

Заранее знаю, что они скажут: если не тридцать шесть рублей в год, то тридцать три или тридцать два. Таковы их доходы. У каждого много профессий, но мало удачи. За-

нимаются производством картофеля. Дома пустые. Шамес считает на пальцах: он — удрал из дому, она — перекупщица, две девушки — прислуги, одна в Люблине, вторая в Замоще. Один сын — помощник кантора *, другой служит в армии, а жена его с тремя-четырьмя-пятью детьми вернулась к своим родителям.

Я вижу юношей за чтением гемары, застенчивых и бесстыжих молодых в париках, беспризорных детей, купающихся вместе с гусями и утками в грязной речке, малюток, надрывающихся в люльках.

Закрываю глаза и вижу, как мимо меня проходят бледные, зеленые, измученные лица. Редко вижу человека с улыбкой на устах. Проходят аляповатые мужчины, плачущие женщины, которые тащут на себе корзину с овощами, мешок с луком, нередко и младенца.

Я наперед знаю, что увижу шинок, двух-трех конокрадов и более двух-трех шукарей.

А что будет со статистикой? В состоянии ли она ответить на вопрос: сколько пустых желудков и ртов, глаза скольких людей высматривают кусок хлеба, сколько человек, умирающих с голоду, вынуждены содержать шинок, стать конокрадом или вором?

Ученые медики изобрели машину, регистрирующую биение пульса, ритм сердца, статистика же играет в цифры. Знает ли она, сколько раз замирало сердце у автора трактата «Тевуот шор» *, когда он давал неверные советы? Сколько дней и ночей он из-за этого не спал? Может ли статистика сосчитать, сколько дней голодные дети провели в судорогах?

В пустом воздухе плывут перед моим взором желтые, бледные и синие лица.

Потрескавшиеся от жары синие губы жалуются:

— Двадцать четыре дня, как я не топила печь.

— Десять дней подряд мы ели одну картофельную шелуху.

— Трех похоронила без доктора и лекарств, четвертого спасти бы мне.

Эти ужасные слова ранили мое сердце, и я отскочил от окна, у которого только что стоял.

А вот в одном доме у печки стоит красный, сытый человек.

— Хи-хи, — смеется он, — воровать? Это не дело. Самое малое месяц тюрьмы, а за месяц потеряешь целый клад. Обо мне все паны скажут: «Честный, честный!»

И этот голос режет, как пила, мою душу.

Удираю, прихожу домой и бросаюсь в кровать. Только успел закрыть глаза, как чудится мне старушка, добренькая раввинша из Скуляны.

— Дитя мое, — произносит она своим детским серебряным голоском, — если в итоге получается плохо, то читай «Поучение отцов» *.

Я уснул и видел во сне двух ангелов, спустившихся с неба в легком розовом тумане.

Злой дух держал в одной руке дорогие костюмы, шелковые кушаки, цилиндры и фраки, нагрудники из золота, жемчуг и бусы, атласные и шелковые шлейфы разных цветов и купчую на дом. В другой руке у сатаны была картофельная ботва.

Добрый ангел — ничего не имел: ни костюмов, ни посуды. Он был наг, таким, каким был создан богом.

Оба реют над моей головой, и кажется мне, что добрый ангел хочет мне что-то сказать. Но разбудил меня не голос ангела, а чей-то крик: «Пожар!»

Вскочил и вижу: дом напротив горит. Язык пламени возвестил:

— Застраховано, не робей!..

17

ПОГОРЕЛЕЦ

Горел дом реб Хаима Вайцензангса. Пламя увеличилось, а дом уменьшался, наконец он исчез в океане столбов и криков.

Еще повезло, что погода была безветренная. Когда из-за бани показалось красное солнце, напоминавшее молодую праведницу после омовения, стали видны мужские головы, разыскивающие на пепелищах остатки бывшего богатства Вайцензангса.

Около пепелищ собрались женщины с пожелтевшими лицами, прикрывая свои непричесанные головы грязными платками. Бескровными губами они оплакивали сгоревший дом.

С наступлением дня подул свежий ветерок. Он вился вокруг сохранившегося дымохода, который печально стоял, как вдовец, потерявший свою любимую жену.

.....

Скорее можно восстановить все пяти и пылинки сна, приснившиеся ночью, чем перечислить все профессии, которыми вынужден заниматься еврей, чтобы услышать звон медной копейки.

Если бы я хотел записать все, то мне надо было бы иметь анкету величиной со свиток, распростертый у божьего престола и прикрывающий наши головы, чтобы богу не видно было, как люди местечка поднимают горе очи; как они с потухшими глазами и дрожащими голосами, подтягивая живот, молятся: «Всемогущий, мы все, что в наших силах, сделали, теперь ты прояви свою милость, накорми нас, чем мы хуже птиц, где же наши крошки?..»

И в самом деле эти люди напоминают птиц, только без крыльев, и местечко напоминает гнездо, только без зернышек...

Погорелец — единственный в своем роде житель местечка.

Начал он с того, что каждый день бегал в деревню. Под его босыми ногами горела земля, крик жены и детей «кушать» доводил его до умопомрачения. И бог смиловился. По дешевке он доставал самое необходимое. Перестал он бегать, начал ходить по деревням. Дома накопились запасы на целую неделю, голова успокоилась, и он получил возможность разглядывать свои распухшие ноги. Он понял, что отцу шестерых детей не положено бегать, а следует ходить, если он хочет дожить до бармицве * своего первенца.

И опять бог смиловился. Преуспевая в торговле, он уже не ходил по деревням, а ездил на подводе из одной деревни в другую. Затем он, слава всевышнему, приобрел своего коня и свою повозку.

А время не ждет. Он пускается во все тяжкие. И бог ему в помощь. Вместо одного коня — два, вместо повозки — бричка. Он скупщик зерна. Имеет дело уже не с мужиками, а с помещиками.

Он озаряет местечко кредитом. Его считают пауком, в паутине которого запуталось много мух.

А «паук» перестроил свой дом, детей сосватал, жене купил жемчужные бусы, себе — шубу из овчины, для мальчиков пригласил знающего меламеда, для девочек — учителя, пусть хоть грамоту знают.

Затем пан Храбра Ф., с которым он вел дела, обанкротился, потому и он тоже вылетел в трубу...

Прибыл бы я сюда месяц назад, я записал бы: «Вайцензанг торгует лесом и хлебом, он — процентщик. Дом его оценивают в 1500 рублей. Храбре Ф. он дал займы 1500 рублей — под заемное письмо на условиях 10% годовых».

Теперь я напишу одно слово: погорелец.

Могу добавить: погорельцу 82 года, у него опухшие ноги, семья его составляет семнадцать душ.

ЭМИГРАНТ

Открываю дверь. Дом без кроватей, без мебели, на полу солома и сено. В середине комнаты стоит бочка, на ней глиняная крышка с простоквашей, вокруг бочки — четверо чумазых ребятишек, в правой руке они держат позеленевшие оловянные ложки, в левой — куски хлеба из отрубей.

В одном углу сидит на полу женщина и обильно проливает слезы, омывая ими картошку, которую она чистит.

В другом углу лежит ее муж, растянувшись на соломе.

— Зря, дружище, вы зашли ко мне, — сказал он, — как видите, я уже не местный житель.

Но я не собираюсь уходить. Тогда он медленно поднимается с пола и с досадой спрашивает:

— Где же мне вас посадить?

— Ничего, я могу и постоять.

— Да, но что вы хотите от меня? Я уже продал все в ожидании шифскарты *.

— Вы ремесленник? — задал я первый вопрос.

— Портной.

— Что вас гонит отсюда?

— Голод.

А голод здесь виден и на лице моего собеседника, и его жены, и особенно на лицах детей.

— Нет работы?

— Мы давно забыли, что такое работа.

— Куда вы едете?

— В Лондон. Я там уже бывал, деньги зарабатывал, посылал жене десять рублей в неделю, сам жил по-человечески, так нет же, потянуло домой.

— Почему вы семью не взяли с собой?

— Куда взять, когда мне захотелось вернуться домой. В Лондоне мрак, темень, закрываю глаза и вижу наше местечко, его лес и реку... Тяжело мне стало, и меня потянуло...

— И действительно, здесь у вас хорошо.

— Чистый воздух, и бесплатный. Но вот уже три года подряд, как мы с женой только им и питаемся.

— Вы опять будете тосковать по лесу.

— По лесу! Вчера моя жена пошла в лес по ягоды, а ее по распоряжению помещика так избили...

— По реке будете тосковать.

— Летом она поглотила одного моего ребенка.

Я еле нашел дверь.

19

СУМАСШЕДШИЙ?

Вернулся к себе в жутком состоянии. Долго валялся на диване, не смог глаз сомкнуть. Кто-то открывает мое окно. Вижу: грязные иссохшие руки, желтое лицо, посоловелые глаза и всклокоченная голова.

— Меня записать не желаете? — тихо спрашивает голова.

Я растерялся и не знал, что ему ответить. Но он уже влез в комнату.

Испуганный, я не спускаю с него глаз.

— Пишите, — приказывает он, — доставайте перо и бумагу!

И он придвинул к дивану мой письменный столик.

— Пишите, прошу вас, пишите!

Голос у него мягкий и приятный. Я успокоился, сел и стал записывать.

— Как вас зовут?

— Иона.

— А кличка у вас какая?

— Когда был мальчишкой, меня звали Иона-коза, после свадьбы Иона-жердь, а теперь Иона-сумасшедший.

— Фамилия ваша?

— О! Сейчас, сейчас... Перельман. Вы видите мой жемчуг? ¹

¹ По-еврейски жемчуг — перл.

Он показал мне свое рваное красное кашне вокруг шеи.
— Хороший жемчуг, а? Но что поделаешь, фамилия такая.

— Вы женаты?

— Да, но ее записывать не надо, она со мной не живет; с тех пор как я заболел, она ушла от меня. Милая женщина! Я развелся бы с нею, но раввин не разрешает. Милая женщина!

На его глазах блеснули слезы.

— И ребенка она с собой забрала. Так лучше. Я носил бы его на руках, но в меня бросают камни, ребенка могут искалечить.

— Один у вас ребенок?

— Один.

— Чем вы больны?

— А я знаю? Народ говорит — привидение, а доктор сказал, что камень, который упал на мою голову, испортил мне душу. Камня я не помню, но шишку на голове я все еще чувствую.

Он снял шапку вместе с ермолкой и показал мне пожелтевшую рану.

— Может, из-за камня, но что я сумасшедший — это правда.

— В чем это выражается?

— Два-три раза в день душа моя находится в моем животе, и я начинаю кукарекать, как петух. Удержаться не могу, никак не могу.

— Чем вы занимались до вашего заболевания?

— Ничем. Жил на харчах у тестя. Несчастье случилось ровно через год после свадьбы, потому у меня один ребенок, дай бог ему здоровья.

— Есть ли у вас какие-нибудь деньги?

— Были, приданое, но много ушло на докторов, лекарства, остаток отдал жене.

— На какие же средства вы живете?

— Мучаюсь, не живу. Мог бы у лавочника на базаре подзаработать, так мальчишки бросают в меня камни... Попрошайничаю, до обеда попрошайничаю, пока дети еще в хедере... Малость достается. Местечко крохотное. Есть сумасшедшие помимо меня... Рассказывают, что вчера Локшина кастрюлей била прислугу по голове, и та обязательно с ума сойдет. Я еще не знаю, будет ли она кукарекать, как я, или дуть в кулак, как сын раввина Шлема, или будет молчать, как банщица Хана.

Я не хочу называть местечко по имени, но если бы я встретил еще одно такое, закричал бы, как петух.

Читайте заполненные анкеты.

«Был прекрасным сапожником, содержал жену и пятерых детей, выиграл в лотерее большую сумму, стал пить, все пропил, бросил детей и жену, куда-то пропал. Валяется, видимо, где-то у забора».

А вот другие анкеты.

«Меламед выиграл в лотерее. Вместе с раввином арендует мельницу. Погорел, объявлен банкротом. Теперь он — шамес хасидской синагоги. Никакого жалованья, но торгует водкой, жена разносит масло, яйца, зарабатывает очень мало. Один сын покинул родной дом, куда-то исчез, второй — работает у столяра, третий — сидит дома, у него скарлатина».

«Вдова Бейля-Бася живет вместе с солдаткой-невесткой, у которой муж пропал без вести на турецкой войне. Невестка торгует пухом и пером. Сама Бейля-Бася — банщица, ухаживает за больными и роженицами. Летом, если помещик разрешает, собирает ягоды в лесу. Она большой человек, побирается...»

«Зайнвл Граф совсем недавно стал живодером. В прошлом году он еще удил рыбу, арендовал у помещика реку, в которой водилась некошерная рыба, разорился...»

«Шмерка — бывший данцигский купец. Вернулся домой с котомкой и посохом. Торгует вином из изюма по праздникам. Жена его — портниха, уже плохо видит. Детей нет. Но виноделов в местечке слишком много, потому и живут плохо».

«Мейлах Перлс — красивый молодой человек, до недавнего времени жил на харчах, состоял в компании с перекупщиком пшеницы, но разорился. Тем временем тесть его умер в нищете. Чем Мейлах будет заниматься, пока не известно. У него трое детей».

Просили меня заполнить анкету еще на одного. Как его зовут, никто не помнит, но он — рыжий, женат. Детей у него много, а сколько — тоже никто не помнит. На днях переберется в местечко, так как помещик отказал ему в аренде пахты. Какими делами он займется — это никому не известно, но «записать его, — говорят, — нужно».

РАССКАЗЫ



НОВЕЛЛЫ